ЭЛЕГИИ

Элегия шестая

Пора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.

Четвертый час утра. Элегия шестая.

Поморщусь, закурю и выдохну привычно:

печаль моя мутна и ночь косноязычна.

Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.

подснежник радует, и тут же увядает,

играют радугой разводы нефтяные

на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,

неблагодарный раб? Кому ты так глубоко

завидуешь? Кому светло и одиноко?

Ах, мышья беготня. Уже пробили зорю.

Запахнет серый свет бродящею лозою,

и дымом – свежий хлеб, не душным, а сосновым,

и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?»

Лимоном, лавром, друг, вернее, лавровишней.

Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?

Но это было там, в других краях, где горе

топили юноши в арабском алкоголе,

и пела под дождем красавица чужая,

грядущей тишине огнём не угрожая.

Элегия седьмая

Л.С.

Все кажется – вернусь, и станет все, как было,

на Малой Бронной, где теперь сугроб

(как я тебя любил, как ты меня любила!),

аптека и кофейня. Жизнь взахлёб.

И будет нам тепло среди зимы косматой:

подпольный Галич с плёнки запоет,

и кухню полутемную зальет

люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,

другую, третью и сердился, право,

когда ты выговаривала: ну,

ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава

Создателю: он сам – творенья часть,

то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,

то посылает всякой мрази власть,

то глупость – юношам, то молодость – девицам.

Кончается благословенный век мой.

Ты умерла (а я не поумнел),

но все смеешься, пепел сигаретный,

как бы профессор с тонких пальцев – мел,

отряхивая в оранжевое блюдце.

Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,

лишь Патриаршие сверкают инеем,

и небо черное, и светло-синее.

Элегия восьмая

Ах, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой,

в сиреневых носках.

в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным

Овидием в руках.

Не нам воспрять – лишь ангелам, вернее, созданиям,

не знающим стыда –

мы выцветаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да.

Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,

в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столярной мастерской

на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище,

в евангелии детском.

где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:

лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет

с грешной выи

одним движением – и в тесном вещем сне зубами скрежетать

без помощи извне

Элегия девятая

зацвела конопля дозревает мак

а подумал о будущем и обмяк

и зашелся кашлем от сигареты

различив за безлицею синевой

осторожный и жалобный голос твой

повторяющий что ты где ты

распахнется при черной свече зрачок

молоку на смену придет обрат

станет страшно и тихо-тихо,

лишь под утро в углу затрещит сверчок

таракану друг и цикаде брат

подзывая свою сверчиху.

потемнеет пристань невдалеке

где спустился бы в лодку с узлом в руке

раскулаченный, только пешим ходом

бормотать ему по водам чужим

над которыми сириус недвижим

истекает бесплотным медом

полно хвастаться кожаным ярлыком

на княжение – певчих сверчков на корм

игуанам и мелким змеям

размножают – и светимся мы во тьме

и встречаемся как не в своем уме

и прощаемся как умеем

Элегия десятая

отсидели за школьною партой возмужали в родной стороне

затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне

и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам

и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам

и еще я студент не добытчик а страна за моею спиной

набивает ивановский ситчик полыхает травою степной

тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет

сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет

счет идет на такие секунды что и выбора нету прости

не замай темнохвойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти

предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг

воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг

Элегия одиннадцатая

когда адам отстраивал содом

и любовался собственным трудом

телеги с черепицею скрипели

по глинистой дороге, мастерки

сновали, словно ласточки, легки,

молчали плотники, а каменщики пели.

в чем смысл творенья город расскажи

десятники свернули чертежи

грядущее плотнее и бесплотней

охотник на оленей лжец кузнец

и ростовщик и мельник наконец

обнявши жён справляют день субботний

один адам на ложе земляном

скорбит и размышляет об ином

спи старец спи пускай тебе приснится

красавец Блок (уволенный рыбак)

с медовой папироскою в зубах

и бумазейной розою в петлице

Элегия двенадцатая

И стартовал бы с чистого листа,

чтоб стала ночь прощальна и проста,

ан не выходит. Грустно. Тараканы

под плинтусом. Зима. Метаморфоз

не жалуем, ни в шутку, ни всерьез,

засим (привет, Лебядкин!) и стаканы

сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,

но кожа превращается в хитин,

а руки-ноги – в лапки, и свобода

сужается, как довоенный мир,

до точки, до одной из черных дыр

в развалинах живого небосвода.

А тараканы знай шуршат, шуршат,

кот ловит перепуганных мышат,

бездомный муж на вентиляционной

решетке, в древний кутаясь тулуп,

пьёт из горла. И песня льется с губ,

безмолвная, как пруд пристанционный

из Саши Соколова, с трын-травой

и радугой бензиновой. Постой,

на пышный град в убогой облицовке

из жженой глины – оглянись! Жена

с тележкою бредет, обожжена

безумьем. Ни завязки, ни концовки.

Тем и скучна поэзия, ma chère,

что дышит только светом горних сфер

(шучу). Сужаясь от избытка чачи

(как бы зрачок), за истину не пьет,

невнятицу бесшумную поет.

И рад бы изменить ей, но иначе –

не смог бы, нет. Прощальна и проста,

снимает тело мертвое с креста

и, тихо прихорашиваясь, плачет.